Америго Бонасера сидел в Третьем отделении уголовного суда города Нью-Йорка, дожидаясь, когда свершится правосудие и возмездие падет на головы обидчиков, которые так жестоко изувечили его дочь и пытались над нею надругаться.

Судья, внушительный, важный, поддернул рукава своей черной мантии, словно бы вознамерясь собственноручно разделаться с двумя юнцами, стоящими перед судейским столом. Тяжелое лицо его застыло в высокомерном презрении. И все же сквозила во всем этом некая фальшь, Америго Бонасера чуял ее нутром, хотя пока еще не мог осмыслить, в чем дело.

― Вы поступили как последние подонки, ― резко сказал судья.

Да, думал Америго Бонасера, да, именно. Скоты. Животные. Юнцы ― глянцевые шевелюры модно подстрижены, на умытых, гладких мордах постное смирение ― покаянно понурили головы.

Судья продолжал:

― Вы вели себя как звери в лесу ― ваше счастье, что вам не удалось обесчестить бедную девушку, не то отправил бы я вас за решетку на двадцать лет. ― Он выдержал паузу, мазнул лисьим взглядом из-под сурово насупленных бровей по изжелта-бескровному лицу Америго Бонасеры, нагнулся к столу со стопочкой судебных решений. Потом нахмурился еще сильней, пожал плечом, как бы превозмогая естественный гнев перед лицом необходимости, и закончил: ― Однако, принимая во внимание ваш возраст, вашу не запятнанную прежде репутацию и доброе имя ваших родителей, а также учитывая, что закон, в неизреченной мудрости своей, не призывает нас к мести, я приговариваю каждого из вас к трем годам тюрьмы. Условно.

Лишь сорокалетняя профессиональная привычка управлять своей мимикой дала силы похоронщику Бонасере скрыть прилив негодования и злобы. Его дочка, юная, хорошенькая, еще лежит в больнице со сломанной челюстью, а этим скотам, этим animales, позволяют гулять на свободе? Значит, перед ним ломали комедию. Он смотрел, как сияющие родители сбились тесной кучкой возле своих ненаглядных чад. Еще бы им не сиять, им есть чему радоваться.

Едкая горечь подступила к горлу Бонасеры, рот за стиснутыми зубами наполнился кислой слюной. Он выдернул из нагрудного кармана полотняный белый платок и прижал к губам. Так и стоял, когда те два молодчика, бесстыжие, наглые, с усмешечкой прошли мимо по проходу и даже не взглянули в его сторону. Он пропустил их без единого звука, только крепче зажал себе рот крахмальным платком.

Следом прошли родители ― двое мужчин и две женщины, одних лет с Бонасерой, только одеты как коренные американцы. Эти на него поглядели ― сконфуженно, но и с вызовом, с каким-то затаенным торжеством.

Не в силах сдерживаться, Бонасера подался вперед к проходу и хрипло прокричал:

― Вы у меня еще поплачете, не мне одному лить слезы ― еще наплачетесь от меня, как я наплакался от ваших деток!

Адвокаты, шедшие следом за своими клиентами, подтолкнули их вперед, юнцы, в стремлении заслонить родителей, отступили назад; в проходе образовалась пробка. Огромный судебный пристав проворно двинулся загородить собою выход из того ряда, где стоял Бонасера. Но это оказалось излишним.

Все эти годы, прожитые в Америке, Бонасера веровал в закон и порядок. Того держался, тем и преуспел. И сейчас, хотя у него мутилось сознание от дикой ненависти, ломило в затылке от желания кинуться, купить оружие, застрелить этих двух мерзавцев, Бонасера повернулся к своей ничего не понимающей жене и объяснил:

― Над нами здесь насмеялись.

Он помолчал и, решившись окончательно, уже не думая, во что ему это обойдется, прибавил:

― За правосудием надо идти на поклон к дону Корлеоне.

В Лос-Анджелесе, среди кричащей роскоши гостиничного люкса, Джонни Фонтейн глушил виски, как самый заурядный обманутый муж. Развалясь на красном диване, он пил прямо из горлышка и, чтобы отбить вкус, сосал талую воду, макая лицо в хрустальное ведерко с кубиками льда. Было четыре часа утра, и его пьяному воображению мерещилось, как он будет расправляться со своей блудной женой, когда она вернется. Если она вообще вернется. Слишком поздно, а то недурно бы звякнуть первой жене, узнать, как поживают его дочки, ― звонить друзьям его что-то не тянуло с тех пор, как дела пошли скверно. Было время, когда им лишь польстило бы, вздумай он позвонить в четыре утра, в восторг пришли бы; теперь нос воротят. А ведь подумать только, до чего близко к сердцу принимали невзгоды Джонни Фонтейна самые блестящие кинозвезды Америки, когда он шел в гору. Даже забавно.

Снова припав к бутылке, он услышал наконец, как жена поворачивает ключ в двери, но не отрывался от горлышка, покуда она не вошла в комнату и не стала перед ним. Такая красивая, с ангельским личиком, томными фиалковыми глазами, хрупкая, тоненькая, с точеной фигуркой. Миллионы мужчин во всем мире влюблялись в лицо Марго Эштон. И платили за то, чтоб увидеть его на экране.

― Где шаталась? ― спросил Джонни Фонтейн.

― Так, трахалась на стороне, ― сказала она.

Она неверно рассчитала, он был не настолько пьян. Перемахнув через журнальный столик, он сгреб ее за ворот платья. Но когда к нему приблизилось вплотную это волшебное лицо, неповторимые глаза, вся его злость иссякла, он размяк. Она насмешливо скривила губы ― и опять просчиталась: Джонни занес кулак.

― Только не по лицу, Джонни, ― взвизгнула она, ― я же снимаюсь!

И все это сквозь смех.

Удар пришелся ей в солнечное сплетение; она упала. Он навалился сверху, и она задохнулась, обдавая ему лицо своим сладостным дыханьем. Он осыпал тумаками ее плечи, бока, загорелые шелковистые бедра. Тузил ее, как когда-то давно, уличным сорвиголовой, дубасил нахальных сопляков в «адской кухне» трущобного Нью-Йорка. Больно, зато без серьезных увечий вроде выбитых зубов или сломанной переносицы.

И все же он бил ее вполсилы. Не мог иначе. И она открыто куражилась над ним. Распластанная на полу, так что парчовое платье задралось выше пояса, она хихикала, поддразнивая его:

― Ну, давай, Джонни, иди ко мне. Вставляй ключ в скважину, тебе ведь только того и надо.

Джонни Фонтейн встал. Убить ее мало, эту тварь, неуязвимую за броней своей красоты. Марго перекатилась на живот, упругим прыжком вскочила на ноги и, пританцовывая, кривляясь как девчонка, пропела:

― А вот и не больно, вот и не больно.

Потом серьезно, с печалью в обольстительных глазах, прибавила:

― Балда несчастная, весь живот отдавил, прямо как маленький. Эх, Джонни, век тебе оставаться слюнявым теленком, ты и в любви-то смыслишь не больше малолетка. До сих пор воображаешь, будто женщины с мужчинами и впрямь занимаются тем, про что ты мурлыкал в своих песенках. ― Она покачала головой. ― Бедненький. Ну, будь здоров, Джонни.

Она вышла в спальню, и он услышал, как щелкнул замок.

Джонни сел на пол и закрыл лицо руками. От обиды, от унижения его охватило отчаяние. Но недаром он был выкормыш нью-йоркских трущоб, старая закваска, которая помогла ему когда-то выжить в дремучих джунглях Голливуда, заставила его теперь снять трубку и вызвать такси, чтобы ехать в аэропорт. Один человек еще мог его спасти. Нужно было лететь в Нью-Йорк. К этому человеку ― единственному, у кого он найдет силу и мудрость, которых ему сейчас так недостает, и любовь, которой еще можно довериться. К его крестному отцу, дону Корлеоне.

Пекарь Назорин, кругленький и румяный, как его пышные итальянские хлебы, все еще припудренный мукой, обвел грозным взглядом свою жену, дочь Катарину, засидевшуюся в невестах, и Энцо, работника своей пекарни. Энцо успел переодеться в форму военнопленного, не забыв нарукавной повязки с зелеными буквами ВП, и стоял теперь, маялся, боясь опоздать к вечерней поверке на Губернаторов остров. Подобно тысячам пленных итальянцев, которых каждый день отпускали под честное слово на работу к хозяевам-американцам, он жил в вечном страхе, как бы не лишиться этой поблажки. И потому нехитрый фарс, который разыгрывался сейчас, был для него делом серьезным.

― Семью мою вздумал опозорить? ― прорычал Назорин. ― Подарочек подкинуть на память моей дочке? Поскольку войне конец и Америка, нетрудно сообразить, даст тебе под зад коленом, чтобы мотал восвояси на Сицилию блох считать в деревне, ― так, что ли?

Энцо, коротконогий крепыш, прижал руку к сердцу, чуть не плача, но все же не теряя головы:

― Padrone, клянусь Святой Девой, не отвечал я злом на вашу доброту. Я люблю вашу дочь, но со всем моим уважением. И со всем уважением вас прошу, отдайте ее за меня. Я не имею права просить, это верно, но, если меня отошлют в Италию, мне уж в Америке не бывать. И я никогда не смогу жениться на Катарине.

Жена Назорина, Филомена, не стала тратить слов понапрасну.

― Брось дурить, ― обратилась она к толстяку мужу. ― Тебе известно, что надо делать. Не отпускай Энцо никуда, отправь на Лонг-Айленд к нашей родне, пусть укроют его покуда.

Катарина плакала навзрыд. Уже дебелая, с пробивающимися усиками, она не могла похвастать красотой. Где еще она добудет себе в мужья такого видного парня, как Энцо? Кто другой будет трогать ее за потаенные места так бережно и любовно?

― Вот уеду жить в Италию, будете знать! ― крикнула она отцу. ― Не оставите Энцо ― сама с ним сбегу!

Назорин скосил на нее хитрющие глазки. Лихая штучка эта его дочечка. Видел он, как она норовит прижаться к Энцо сдобным крупом, когда работнику нужно протиснуться за ее спиной к прилавку и выложить в корзины горячие, прямо из печи, батоны. Пора принимать меры, не то ― Назорин позволил себе отпустить мысленно скабрезность, ― не то этот мошенник протиснется к ней в печь со своим горячим батоном. Надо оставить Энцо в Америке, добыть ему американское гражданство. И есть лишь один человек, который может обстряпать такое дельце. Крестный отец. Дон Корлеоне.

Каждый из этих трех людей и еще многие другие получили тисненное золотом приглашение пожаловать в последнюю субботу августа 1945 года на свадьбу мисс Констанции Корлеоне. Отец невесты, дон Вито Корлеоне, никогда не забывал своих старых друзей и соседей, хотя сам обитал теперь в огромном особняке на Лонг-Айленде. Туда и соберутся гости, и, уж конечно, веселье затянется на целый день. То-то будет потом что вспомнить! Война с Японией как раз закончилась, и гложущий страх за сыновей, ушедших на фронт, уже не омрачит людям этот праздник. А свадьба ― самый подходящий повод дать волю своей радости.

И вот, когда настало это субботнее утро, из города Нью-Йорка потоком хлынули друзья дона Корлеоне, дабы почтить своим присутствием его семейное торжество. Каждый вез с собою свадебный подарок: плотный конверт, туго набитый банкнотами; чеков не было. Визитная карточка, вложенная в конверт, удостоверяла личность дарителя и меру его уважения к дону Корлеоне. Уважения поистине заслуженного.

Дон Вито Корлеоне был человеком, к которому обращался за помощью всякий, и никому не случалось уходить от него ни с чем. Он не давал пустых обещаний, не прибегал к жалким отговоркам, что в мире-де есть силы, более могущественные, чем он, что у него связаны руки. При этом вовсе не обязательно, чтобы он числился у вас в друзьях, неважно даже, если вам нечем было отблагодарить его за помощь. Одно лишь требовалось. Чтобы вы, вы сами объявили себя его другом. И тогда, как бы ни был сир и убог проситель, дон Корлеоне относился к его невзгодам, как к своим собственным. И уже не было таких преград, чтобы помешали ему поправить беду. А что за это? Дружба, почетное звание «дон» и изредка ― родственно-теплое обращение «Крестный отец». Ну, еще разве что какое-то скромное подношение: бутыль домашнего вина, корзина сдобных, наперченных коржей taralles, испеченных специально к его рождественскому столу, ― единственно в знак почтения, никоим образом не в виде материальной компенсации. Разумеется, как того требовала простая вежливость, не обходилось без заверений, что вы ― его должник и он вправе в любое время рассчитывать на ответную посильную услугу.

Сейчас, в этот знаменательный день ― день свадьбы его дочери, ― дон Вито Корлеоне стоял в дверях своего приморского особняка на Лонг-Айленде, встречая гостей; всяк из них был хорошо ему знаком, всякий пользовался его доверием. Не один был обязан дону своим житейским благополучием и на этом домашнем празднестве без стеснения называл его «Крестный отец». Здесь все были свои, даже те, кто обслуживал торжество. За стойкой бара занял место старый товарищ, чей свадебный дар составляло не только все, что подавалось из спиртного, но также и собственные профессиональные услуги. Роль официантов исполняли друзья хозяйских сыновей. Угощение, расставленное по столам в саду, готовили супруга дона Корлеоне и ее приятельницы, невестины подружки развесили по громадному парку яркие гирлянды украшений.

Кто бы ни был гость, богач или бедняк, сильный мира сего или скромнейший из скромных, дон Корлеоне каждого принимал с широким радушием, никого не обойдя вниманием. Таково было его отличительное свойство. И гости так дружно восклицали, что смокинг ему к лицу, так ахали на все лады, что неискушенному наблюдателю немудрено было бы принять самого дона Корлеоне за счастливого молодожена.

Рядом с ним стояли в дверях двое из трех его сыновей. На старшего, по имени Сантино, которого все, кроме родного отца, называли Санни, «сынок», степенные итальянцы поглядывали косо, молодежь ― с восхищением. Для италоамериканца в первом колене он был высок ростом ― добрых шесть футов ― и казался еще выше из-за пышной копны курчавых волос. Лицо его напоминало грубую маску Купидона: черты правильные, но губы, изогнутые, точно лук, ― плотоядно чувственны, крутой подбородок с ямкой странным образом вызывал смутно непристойные ассоциации. Могучий, налитой бычачьей силой, он был ― общеизвестный факт ― столь щедро одарен природой в части мужских достоинств, что многострадальная жена его страшилась брачного ложа, как безбожник в стародавние времена страшился дыбы. Когда он, как о том шептались люди, захаживал, бывало, в молодые годы в нехорошие заведения, то даже самые прожженные и бесшабашные из putain, узрев с невольным содроганьем его исполинский орган, требовали себе двойной оплаты.

Теперь, на свадебном пиру, не одна замужняя итальяночка, крутобедрая, большеротая, мерила Санни Корлеоне уверенным, оценивающим взглядом. Но сегодня молоденькие гостьи напрасно тратили время. Сегодня у Санни Корлеоне, несмотря на присутствие жены и трех малых детишек, были другие виды ― виды на Люси Манчини, лучшую подругу невесты. О чем подруга невесты, сидящая за столом в саду в вечернем розовом платье и с диадемой из живых цветов в лоснистых черных волосах, прекрасно знала. Всю эту неделю, пока шли приготовления к свадьбе, она кокетничала с Санни напропалую, а нынче утром у алтаря крепко пожала ему руку. Незамужняя девушка большего не могла себе позволить.

Что ей было за дело, если он никогда не сравняется в величии со своим отцом, не достигнет того же. Зато Санни Корлеоне сильный и храбрый. Зато он щедр, и душа его, по общему признанию, не уступает размерами причинной части его тела. Правда, в отличие от своего уравновешенного родителя он вспыльчив и несдержан и потому способен на опрометчивые суждения. И хоть оказывает большую помощь отцу в его делах, многие сомневаются, чтобы дон Корлеоне сделал его своим преемником.

Средний сын, Фредерико ― в обиходе Фред или Фредо, ― был чадом, о каком всякий итальянец может только молить святых. Почтительный, преданный, во всем послушный воле отца, он в свои тридцать лет все еще жил одним домом с родителями. Коренастый и плотный, он был некрасив, хотя и сохранял фамильные черты сходства с Купидоном: тот же шлем курчавых волос над круглым лицом, тот же крутой изгиб чувственного рта. С тою разницей, что у Фредо ему скорее подходило слово «каменный». Этот хмурый молчун был истинной опорой отцу, ни словом ему не перечил, никогда не досаждал скандальными похождениями с женщинами. Однако при всех своих достоинствах он был лишен той притягательной животной силы, той гипнотической способности подчинять, какая столь необходима вожаку, ― вот почему и Фредо тоже не прочили в преемники дона Корлеоне.

Третьего сына, Майкла Корлеоне, рядом с отцом и братьями не было, он сидел за одним из столов в самом глухом уголке сада. Но даже там не мог укрыться от любопытных взглядов.

Майкл Корлеоне был младшим из сыновей дона ― и единственным, кто не признавал над собою воли своего всесильного родителя. Ему, в отличие от других детей в семье, не досталось ни массивных черт лица, ни сходства с Купидоном, а его смоляные гладкие волосы лежали прямыми прядями и не курчавились. Его чистой, оливково-смуглой коже позавидовала бы иная девушка. Да и вообще по тонкости письма красота его не уступала девической, и было время, когда дон тревожился, вырастет ли его младший сын настоящим мужчиной. В семнадцать лет Майкл Корлеоне рассеял отцовскую тревогу.

Сегодня этот младший сын занял место за самым дальним столом, нарочито подчеркивая свое отчуждение от отца и родной семьи. Рядом сидела его девушка, коренная американка, которой до этого случая никто не видел, хотя слышали о ней все. Майкла не приходилось учить хорошим манерам ― он представил ее каждому, в том числе и своей родне. Девушка не произвела на них особого впечатления. Тощевата, белобрыса, лицо ― не по-женски смышленое, живое, держит себя не по-девичьи свободно. И имя чужое, режет слух: Кей Адамс. Она могла бы сказать, что ее предки обосновались в Америке еще двести лет назад и Адамс здесь вполне обычное имя, ― но что им было до того?

Все заметили, что дон почти не обращает внимания на своего третьего сына. До войны Майкл был его любимцем, и, без сомненья, именно ему предполагалось передать в должный час бразды правления семейными делами. Он в полной мере обладал тою спокойной силой, тем умом, какими славился его отец, ― врожденной способностью избирать такой способ действий, что люди невольно начинали уважать его. Но разразилась Вторая мировая война, и Майкл Корлеоне пошел добровольцем в морскую пехоту. Пошел наперекор отцу.

Дон Корлеоне вовсе не желал и не собирался допустить, чтобы его младший сын погиб, служа чуждой ему державе. Подмазали врачей, без шума уладили все, что необходимо. Много денег ушло на меры предосторожности. Но Майклу уже сравнялся двадцать один год, и он был сам себе хозяин. Он вступил в армию и отправился воевать за океан. Дослужился до капитанского чина, получил воинские медали. В 1944 году журнал «Лайф» поместил на своих страницах его портрет и фоторепортаж о его подвигах. Один знакомый показал журнал дону Корлеоне (никто из семьи не решился), и дон, пренебрежительно хмыкнув, сказал:

― Такие чудеса проделывает ради чужих.

В начале 1945 года Майкла Корлеоне после тяжелого ранения демобилизовали подчистую, и откуда ему было знать, что это устроил его отец. Недели три он побыл дома, а там, ни у кого не спросив совета, поступил в Дартмутский университет в нью-гэмпширском городке Хановере и покинул родительский кров. И вот пожаловал опять, чтобы отпраздновать свадьбу своей сестры, а заодно и показать собственную будущую жену ― бесцветную, словно застиранный лоскут, молодую американку.

Майкл Корлеоне занимал Кей Адамс, рассказывая ей случаи из жизни наиболее колоритных гостей, приехавших на свадьбу. Ему и самому занятно было видеть, как любопытны ей эти диковинные птицы, ― его всегда пленял в Кей жадный интерес ко всему новому, еще не изведанному. Ее внимание привлекла горстка мужчин, собравшихся в кружок возле деревянного бочонка с домашним вином. Майкл узнал Америго Бонасеру, пекаря Назорина, Энтони Копполу, Люку Брази. Кей, с присущей ей живой проницательностью, подметила, что эти четверо словно бы чем-то омрачены. Майкл усмехнулся:

― А как же. Это просители. Дожидаются, когда смогут поговорить с отцом с глазу на глаз.

И точно ― даже со стороны видно было, как неотступно эти люди провожают глазами дона Корлеоне.

Дон все еще стоял в дверях, встречая гостей, когда на той стороне мощеной площадки в конце аллеи остановился черный седан «Шевроле». Двое на переднем сиденье вытащили блокноты и принялись деловито, не скрываясь, записывать номера других машин, стоящих по всей площадке. Санни повернулся к отцу:

― Из полиции ребята.

Дон Корлеоне пожал плечами:

― Я не распоряжаюсь этой улицей. Пусть делают что хотят, их право.

Лицо Санни ― отяжелевший лик Купидона ― побагровело от злости.

― Скоты позорные, ни грамма уважения к людям.

Он сбежал с крыльца и зашагал к тому месту, где припарковался черный седан. С угрозой сунул голову внутрь, почти вплотную к лицу водителя, ― тот, не отпрянув, хладнокровно открыл бумажник, предъявляя зеленое удостоверение. Санни без единого слова отступил назад. Сплюнул, попав плевком в заднюю дверцу седана, и пошел назад в надежде, что водитель выскочит из машины и устремится следом; но этого не произошло. Санни, дойдя до дверей, сказал отцу:

― Это из ФБР. Все номера переписывают. Наглые твари.

Дон Корлеоне и без него знал, кто эти люди. Самых близких и верных друзей заранее предупредили, чтобы приезжали не на своих машинах.

Дурацкая выходка сына, подсказанная желанием сорвать зло, вызвала у него неодобрение, ― а впрочем, она сослужила свою службу. Непрошеные визитеры уверуют, что явились нежданно и застигли собравшихся врасплох. Поэтому сам дон Корлеоне не сердился. Он давным-давно понял ― общество на каждом шагу наносит тебе оскорбления, и надо терпеть, утешаясь сознанием, что, если держаться начеку, всегда наступает время, когда самый маленький человек может отомстить тому, на чьей стороне сила. Уверенность в этом удерживала дона от гордыни, питая то смиренномудрие, которое так ценили в нем приближенные.

Но вот в саду за домом грянула музыка. Все званые гости были в сборе. Дон Корлеоне отмахнулся от мысли о незваных гостях и в сопровождении двух своих сыновей направился на свадебный пир.

Многосотенная толпа наводнила огромный парк: одни танцевали на дощатой, украшенной цветами эстраде, другие разместились за длинными столами, уставленными пряной, острой едой, графинами с иссиня-черным домашним вином. Новобрачная, Конни Корлеоне, торжественно восседала за пышным столом на специальном помосте вместе с молодым мужем, лучшей подругой, шаферами и подружками. Свадьбу справляли по народному обычаю, как исстари ведется в Италии. Невесте это было не по нраву, но ей пришлось уступить: своим выбором она уже и без того расстроила отца.

Новобрачный, Карло Рицци, был только по отцу сицилийцем, мать его родилась на севере Италии, и сыну достались ее пепельные волосы и голубые глаза. Теперь его родители жили в Неваде, а Карло после мелких неладов с законом переехал в Нью-Йорк. Здесь он встретился с Санни Корлеоне и через него познакомился с его сестрой. Дон Корлеоне, естественно, отрядил в Неваду верных людей, и те доложили, что разногласия с полицией возникли у Карло из-за неосторожного, по молодости лет, обращения с оружием ― ничего серьезного, протоколы легко изъять, и малый останется чист, как стеклышко. Верные люди заодно доставили дону подробную информацию о легальных игорных домах Невады; дон выслушал эти сведения с большим интересом и не переставал с тех пор размышлять над ними. Секрет успеха дона Корлеоне отчасти в том и состоял, что он из всего умел извлечь выгоду.

Конни Корлеоне была внешне девушка так себе, ее портили худоба и нервозность, грозящая с возрастом перерасти в сварливость. Нынче, впрочем, преображенная свадебным белым убором и предвкушением разлуки с девичеством, сияющая, она глядела чуть ли не красоткой. Ладонь ее под деревянной столешницей покоилась на мускулистой ляжке мужа. Губы, изогнутые, точно лук Купидона, складывались для воздушного поцелуя, предназначенного ему.

Она глядела на мужа влюбленными глазами и не могла наглядеться. Смолоду Карло Рицци подряжался на подсобные работы в пустыне. От тяжелого физического труда под открытым небом он накачал себе здоровенные бицепсы, смокинг трещал на его литых плечах. Он упивался обожанием своей нареченной, то и дело подливал ей вина. Ухаживал за ней с показной любезностью, как будто они с нею были участниками театрального представления. И, словно бы невзначай, посматривал на пузатый, плотно набитый конвертами атласный кошель, висящий на правом плече новобрачной. Сколько там? Десять тысяч? Двадцать? Карло Рицци прятал усмешку. Ничего, это только начало. Не с кем-нибудь породнился, с королевской фамилией. Теперь, хочешь не хочешь, о нем должны будут позаботиться.

В толпе гостей щеголеватый юркий парень, хорек с прилизанной головкой, тоже ощупывал взглядом атласный кошель. По чистой привычке Поли Гатто прикидывал, как сподручней было бы слямзить этот жирный кусок. Развлекался от нечего делать, прекрасно понимая, что это пустая блажь, ― так мальчишки в мечтах подбивают вражеские танки из пугача. Он перевел свой взгляд на дощатую танцевальную площадку, где его шеф, немолодой и тучный Питер Клеменца, кружил своих юных дам в забористой деревенской тарантелле. Гороподобный, неповоротливый на вид Клеменца, похотливо норовя задеть тугим брюхом грудь своей дамы, если она молода и росточком не вышла, отплясывал так искусно и лихо, что зрители дружно награждали его рукоплесканиями. Степенные матроны хватали его за рукав, напрашиваясь в партнерши. Танцоры помоложе почтительно расступились, очистив ему место, и хлопали в такт исступленному бренчанию мандолины. Наконец Клеменца обессиленно рухнул на стул, и Поли Гатто тотчас поднес ему темно-красного ледяного вина, отер взмокшее античное чело шелковым носовым платком. Клеменца, отдуваясь, точно кит на песке, в два глотка опорожнил стакан.

― Ладно, дела не забывай, ― проворчал он вместо благодарности, ― не черта на танцы пялиться. Прошвырнись ступай по соседству, глянешь, все ли нормально.

Поли скользнул в толпу.

Четыре музыканта ушли промочить горло. Один из молодых танцоров, Нино Валенти, поднял оставленную мандолину, поставил левую ногу на стул и затянул двусмысленную сицилийскую песенку. Красивое лицо Нино Валенти слегка обрюзгло от беспробудного пьянства, он и сейчас уже успел набраться. Вращая глазами, он со смаком выпевал соленые словечки. Женщины вскрикивали, держась за бока, мужчины дружно подхватывали конец каждого куплета.

Дон Корлеоне, чья старомодная благопристойность вошла в пословицу ― хоть, не смущаясь этим, его кубышка-жена радостно взвизгивала наравне с другими, ― тактично скрылся в доме. Санни Корлеоне тут же воспользовался удобным случаем и подсел за стол новобрачных к Люси Манчини. Опасаться было нечего. Его жена крутилась на кухне, наводя последнюю красоту на свадебный пирог. Санни шепнул что-то девушке на ухо, она встала. Выждав немного для вида, Санни небрежной походкой последовал за ней сквозь толпу, то и дело останавливаясь, чтобы перекинуться парой слов с кем-нибудь из гостей.

Их провожали сотни глаз. Лучшая подруга невесты, цветущая, вполне американизированная после трех лет, проведенных в колледже, считалась уже девицей «с прошлым». Во время пробных прогонов брачной церемонии она заигрывала с Санни Корлеоне с лукавым задором, позволительным, как ей представлялось, по отношению к шаферу и партнеру на свадьбе. Теперь, чуть подобрав с земли подол своего розового платья, улыбаясь делано и невинно, Люси Манчини вошла в дом и легко взбежала по лестнице, ведущей к ванной комнате. Зашла туда на минутку. Когда она вновь показалась из-за двери, на верхней площадке стоял Санни Корлеоне, маня ее к себе.

Из закрытого окна угловой комнаты, кабинета дона Корлеоне, Томас Хейген наблюдал за весельем в нарядном, праздничном саду. Позади него вдоль стен тянулись полки, сплошь заставленные книгами по юриспруденции. Хейген состоял при доне стряпчим, а сейчас временно исполнял к тому же обязанности consigliori, или советника, и потому занимал в служебной иерархии семейства Корлеоне первостепенное по ответственности место. Немало крепких орешков разгрызли они с доном, сидя в этой комнате, и теперь, когда Крестный отец покинул гостей и направился в дом, Хейген понял, что свадьба ― свадьбой, а работа сегодня им предстоит тоже. Дон идет сюда, к нему. Хейген видел, как Санни нагнулся к уху Люси Манчини и какая сценка разыгралась потом. Он скривил губы, решая, стоит ли довести это до сведения дона. Нет, не стоит. Он отвернулся и взял со стола написанный от руки список тех, кто получил разрешение переговорить с доном наедине. Дон Корлеоне вошел в комнату, и Хейген подал ему список. Дон кивнул.

― Оставь Бонасеру напоследок, ― сказал он.

Открыв стеклянную дверь, Хейген шагнул прямо в сад, где у бочонка с вином по-прежнему топтались просители. Он подал знак булочнику, пухлому Назорину.

Дон Корлеоне встретил пекаря дружеским объятьем. Еще в Италии они вместе играли детьми, росли приятелями. Каждый год на Пасху в дом дона Корлеоне доставлялись неохватные, как колесо телеги, свежие ватрушки, пшеничные пышки с золотистой от яичного желтка корочкой. На Рождество и в дни рождения о преданности Назорина напоминали многослойные торты и пирожные с кремом. Какой бы ни выдался год, скудный или обильный, Назорин исправно и безропотно платил взносы профсоюзу булочников, организованному в годы далекой молодости доном Корлеоне. И ни разу ничего не попросил взамен, разве что карточки на сахар попросил в войну добыть на черном рынке. Что ж, ему давно приспело время предъявить права, заслуженные верной дружбой, и дон Корлеоне не без приятности предвкушал возможность удовлетворить его просьбу.

Хозяин угостил булочника дорогой итальянской сигарой, налил ему янтарной настойки и ободряюще положил руку на плечо. То был пример свойственной дону человечности. Он знал по горькому опыту, сколько требуется мужества, чтобы просить об одолжении.

Пекарь рассказал ему про свою дочь и Энцо. Хороший итальянский паренек, сицилиец, попал в бою к американцам, отправили как пленного на работы в Соединенные Штаты ― мальчишка, если рассудить, трудился на победу Америки! Завязалась меж честным Энцо и береженой пуще глазу Катариной чистая любовь ― все благородно, по совести, ― но тут война закончилась, и его, горемычного, отошлют теперь в Италию, а дочка Назорина с разбитым сердцем неминуемо зачахнет от тоски. Только Крестный Корлеоне может выручить несчастных влюбленных. На него вся их надежда.

Дон, так и не сняв руку с Назоринова плеча, прохаживался с ним по комнате, понимающе кивая головой и тем поддерживая в рассказчике решимость. Когда булочник замолчал, дон Корлеоне мягко улыбнулся:

― Дорогой друг, оставь свои тревоги.

Затем подробно изложил порядок необходимых действий. Прежде всего ― подать заявление конгрессмену от их округа. Тот внесет на рассмотрение конгресса специальный законопроект, предоставляющий Энцо возможность получить американское гражданство. Законопроект непременно примут. В конгрессе тоже рука руку моет. Дон Корлеоне объяснил, что это будет стоить денег ― по нынешним расценкам две тысячи долларов. Он лично обеспечит успех дела и передаст по назначению мзду. Устраивает ли это его друга?

Назорин горячо закивал головой. Понятно, он и не рассчитывал, что такая услуга достанется ему даром. Шутка сказать ― специальное решение конгресса! Не пара пустяков. Едва ли не со слезами на глазах Назорин рассыпался в благодарностях. Дон Корлеоне проводил его до дверей, прибавив, что в пекарню заглянут сведущие люди, оговорят все детали, позаботятся о требуемых бумагах. На пороге они еще раз обнялись, и Назорин скрылся в саду.

Хейген с улыбкой взглянул на дона.

― Недурно Назорин поместил капиталец. И зятек готов, и бессменный помощник у печи, всего-то за две тысячи долларов. Дешевка! ― Он помолчал. ― Кого пустить на это дело?

Дон Корлеоне нахмурился, соображая:

― Наш конгрессмен, из сицилийцев, не подойдет. Давай ― еврея, который от соседнего округа. И соответственно измени домашний адрес Назорина. Я думаю, теперь, после войны, таких случаев будет немало, надо бы завести побольше своих людей в Вашингтоне, чтобы не возникали заторы и не подскочила цена. ― Хейген сделал пометку у себя в блокноте. ― Да, конгрессмена Лютеко не беспокой. Прощупай Фишера.

Следующим Хейген ввел человека с очень незатруднительной просьбой. Звали его Энтони Коппола, с его отцом дон Корлеоне горбатился в молодости на сортировочной станции. Коппола открывал свою пиццерию, и ему требовалось пятьсот долларов на первый взнос за специальную печь и прочее оборудование. Кредит, по причинам, в которые никто не стал вдаваться, он получить не мог. Дон сунул руку в карман и вытащил пачку денег. Как выяснилось, маловато. Он досадливо поморщился.

― Дай мне взаймы сто долларов, ― сказал он, обращаясь к Тому Хейгену, ― я в понедельник буду в банке, отдам.

Проситель стал уверять, что и четырехсот хватит за глаза, но дон похлопал его по плечу и объяснил извиняющимся тоном:

― С эдакой пышной свадьбой и не заметишь, как останешься без наличности.

Он взял деньги, протянутые Хейгеном, приложил к своим и отдал Энтони Копполе.

Хейген смотрел и дивился. Дон постоянно внушал, что если ты проявляешь щедрость, то придай этой щедрости личную окраску. Сколь лестно для Энтони Копполы, когда такой человек, как дон, просит об одолжении ради того, чтобы его выручить деньгами! Коппола знал, понятно, что дон ― миллионер, но много ли найдется миллионеров, готовых доставить себе хоть малейшее неудобство ради знакомца в бедственном положении?..

Дон вопросительно поднял голову. Хейген сказал:

― Люка Брази к вам просится, хотя его нет в списке. Желает вас поздравить лично и знает, что на людях нельзя.

По лицу дона впервые прошла тень неудовольствия. Ответ прозвучал уклончиво:

― Это обязательно?

Хейген пожал плечами.

― Вы в нем разбираетесь лучше меня. Могу лишь сказать, что он очень благодарен за это приглашение на свадьбу. Он такого не ожидал. Вероятно, хочет выразить свою признательность.

Дон Корлеоне кивнул и показал жестом, что Люку Брази можно звать.

Кей Адамс, разглядывая в саду гостей, выделила Люку Брази среди других по выражению необузданной свирепости, как бы опалившей его лицо и въевшейся в самые поры его кожи. Она спросила, кто это. Майкл привез Кей на свадьбу с тайным умыслом постепенно и по возможности безболезненно довести до сознания подруги правду про своего отца. Пока что Кей, судя по всему, принимала дона за обычного бизнесмена ― быть может, не слишком разборчивого в выборе средств. Майкл решил подвести ее к истине окольным путем. Он сказал, что в преступном мире Восточного побережья едва ли найдется фигура более страшная, чем Люка Брази. Своеобразие его таланта, по слухам, состоит в умении совершить убийство собственными силами, без сообщников, что автоматически исключает для стражей закона почти всякую возможность выявить и покарать виновного. Майкл выпятил нижнюю губу.

― Не знаю, насколько все это верно. Но я точно знаю, что с отцом он каким-то образом водит дружбу.

Только тут Кей начала догадываться. Еще не веря, еще не всерьез, она спросила:

― Ты что, намекаешь, будто подобный субъект работает на твоего отца?

Кой черт, в конце концов, подумал Майкл. Рубить, так сплеча. Он сказал:

― Лет пятнадцать назад кое-кто затеял перехватить у отца его дело, импорт оливкового масла. Отца пытались убить, он чудом остался в живых. Тогда врагами отца занялся Люка Брази. Говорят, за полмесяца он прикончил шестерых и этим положил конец нашумевшей оливковой войне.

Майкл говорил посмеиваясь, как бы шутя. Кей содрогнулась.

― И в твоего отца действительно стреляли гангстеры?

― Пятнадцать лет назад, ― сказал Майкл. ― С тех пор все было тихо. ― Он начал опасаться, что зашел слишком далеко.

― Отпугнуть меня рассчитываешь, ― сказала Кей. ― Не хочешь жениться, вот и все. ― Она с улыбкой подтолкнула его локтем в бок. ― Ловко придумано.

Майкл отвечал ей тоже с улыбкой:

― Ты поразмысли над этим, вот что.

― Нет, он серьезно убил шесть человек? ― спросила Кей.

― Если верить газетам ― да, ― сказал Майкл. ― Хотя наверняка ничего не доказано. Но с ним связана и другая история, и о той ― ни слова ни из кого не вытянуть. Нечто до такой степени кошмарное, что даже отец наотрез отказывается говорить на эту тему. Хейген знает, но и его не заставишь рассказать. Я как-то спрашиваю смеха ради ― до какого же мне надо возраста дожить, чтобы услышать эту историю про Люку? А Том на это ― до ста лет. ― Майкл пригубил стакан с вином. ― Ничего себе должна быть история. Ничего себе личность этот Люка.

Люка Брази и впрямь мог нагнать страху на самого дьявола. Его присутствие набатным колоколом возвещало опасность. Приземистый, ширококостный, с массивным черепом, он носил на лице, как печать, свою звериную свирепость. Карий цвет его глаз таил в себе не больше тепла, чем мертвенно-бурая зыбь болота. Безжизненностью сильнее даже, чем жестокостью, поражали и его резиновые узкие губы, напоминающие цветом сырую телятину.

Черная слава Люки Брази внушала ужас, о его преданности дону Корлеоне слагались легенды. Он один составлял целую опорную глыбу в том фундаменте, на котором воздвиг свою мощь дон Корлеоне. Существо такой породы, как Люка, было редкостью.

Люка Брази не страшился полиции и общества; он не боялся ни бога, ни черта ― не боялся и не любил никого из людей. Зато по собственному выбору, по своей доброй воле боялся и любил дона Корлеоне. Переступив порог комнаты, в которой сидел дон, ужасный Люка Брази одеревенел от почтительности. Запинаясь, он изливался в цветистых поздравлениях ― как положено, выразил надежду, что первый из внучат будет мальчик. Затем вручил дону свой подарок новобрачным: конверт, набитый банкнотами.

Так вот чего он добивался! Хейген заметил, какая перемена совершилась за эти минуты с доном Корлеоне. Дон принимал Брази, как король принимает своего подданного, сослужившего ему неоценимую службу: с царственным почетом, но без тени дружеской фамильярности. Каждым движением, каждым словом дон Корлеоне давал Люке Брази почувствовать, что им дорожат. Он не обнаружил ни малейших признаков удивления, что свадебный подарок отдан в руки ему. Он понимал.

Можно было не сомневаться, что в этом конверте окажется больше денег, чем в любом другом. Брази, конечно же, провел не час и не два, стараясь определить, сколько могут преподнести другие. Его подарок должен быть самым щедрым, чтобы видно было, кто чтит дона больше всех, ― он потому и вручил конверт не молодым, а лично дону Корлеоне, и дон спустил ему эту вольность, ответив на его речь столь же цветистыми словами благодарности. Хейген глядел, как тает печать свирепости на лице Люки Брази и черты его расправляются от гордости и довольства. Хейген открыл ему дверь; Люка Брази, поцеловав дону руку, вышел. Хейген благоразумно проводил его корректной улыбкой, и квадратный, приземистый убийца вежливо растянул в ответ свои безжизненные резиновые губы.

Когда дверь закрылась, дон Корлеоне тихонько, с облегчением вздохнул. При Люке Брази, единственном из всех людей на свете, ему становилось не по себе. Подобно стихийным силам, человек этот был до конца не подвластен никакой узде. С ним требовалась сугубая осторожность, как в обращении с динамитом. Дон пожал плечами. Что ж, в случае надобности и динамит можно взорвать без вреда. Он выжидающе посмотрел на Хейгена:

― Один Бонасера остался?

Хейген кивнул. Дон Корлеоне задумчиво нахмурил лоб.

― Знаешь, зови его, но сначала давай-ка сюда Сантино. Пусть подучится кой-чему.

В поисках Санни Корлеоне Хейген обошел весь сад. Попросив Бонасеру еще немного подождать, он подошел к столу, где сидел со своей девушкой Майкл Корлеоне.

― Санни не видел? ― озабоченно спросил он.

Майкл покачал головой. Вот еще не было печали, подумал Хейген. Если Санни до сих пор прохлаждается с подружкой невесты, беды не оберешься. Жена Санни, родители этой девицы... Может случиться катастрофа. Он в тревоге поспешил к двери, за которой на его глазах полчаса назад скрылся Санни.

Глядя ему вслед, Кей Адамс снова обратилась к Майклу с вопросом:

― Это кто? Ты, когда нас знакомил, сказал ― твой брат, но у него фамилия другая, и он уж точно не похож на итальянца.

― Том у нас жил с двенадцати лет. Остался без отца, без матери, шастал по улицам, где-то подцепил заразную глазную болезнь. Санни раз привел его ночевать ― ну, он и застрял у нас. Некуда было деваться. Отдельно зажил, только когда женился.

У Кей заблестели глаза.

― Слушай, до чего романтично! Видно, отец у тебя душевный человек. Взять и так просто усыновить беспризорного, когда у самого столько детей.

Майкл не стал спорить, хотя у итальянских иммигрантов считалось, что четверо детей в семье ― это мало. Сказал только:

― А Тома никто не усыновлял. Он просто жил с нами.

― Да? Почему же, интересно?

Майкл рассмеялся:

― Отец говорил, что со стороны Тома было бы неуважительно менять фамилию. Неуважительно по отношению к его родителям.

Они увидели, как Хейген подвел к двери отцовского кабинета Санни, затем поманил к себе пальцем Америго Бонасеру.

― Что это они в такой день пристают к твоему отцу с делами? ― спросила Кей.

Майкл фыркнул:

― Да потому что, по обычаю, в день свадьбы дочери ни один сицилиец не может никому отказать в просьбе. И ни один сицилиец не упустит такого случая.

Вновь подобрав подол своего розового платья, Люси Манчини взбежала выше по ступеням. Тяжелое лицо Санни Корлеоне ― лик Купидона, непристойно распаленный вином и похотью, ― отпугивало ее, но не к тому ли она сама вела, заигрывая с ним на протяжении всей этой недели? От двух студенческих романов в колледже у нее не осталось никаких ощущений, к тому же и хватило-то каждого всего только на неделю. Второй ее кавалер, когда они поругались, что-то буркнул насчет того, что у нее «чересчур широкие ворота». Люси поняла ― и до конца учебного года ни с кем больше не ходила на свиданья.

В летние дни, покуда шли приготовления к свадьбе Конни Корлеоне, ее закадычной подруги, она наслушалась, о чем шушукаются вокруг про Санни. Раз как-то, воскресным вечером, на кухне у Корлеоне разоткровенничалась и Сандра, его жена. Простецкая, свойская бабенка, девочкой вывезенная в Америку из Италии, где она родилась. Крепко сбитая и большегрудая и уже, после пяти лет замужества, мать троих детей. В тот вечер Сандра с другими женщинами принялась поддразнивать Конни, расписывая ей ужасы супружеского ложа.

― Боже ты мой, ― хихикала Сандра, ― я как увидела первый раз у Санни этот телеграфный столб да как представила, что его воткнут в меня, так прямо заголосила, точно резаная. За год у меня все нутро раздрябло, как переваренные макароны. И когда я узнала, что он других курочек стал топтать, то пошла в церковь и поставила свечку.

Ответом был дружный смех, но у Люси сладко заныло между ногами.

Теперь она бежала к Санни вверх по лестнице, охваченная жаром неодолимого желания. На площадке Санни схватил ее за руку и потянул за собой по коридору в одну из пустующих спален. Дверь за ними закрылась, у Люси подломились колени. Обдав ее прогорклым табачным духом, Санни припал к ее губам. Они с готовностью раскрылись ему навстречу. В ту же минуту его рука, задрав подол вечернего платья, поднялась к атласным трусикам, сдернула их, и Люси почувствовала, как ее ласкает его большая теплая ладонь. Она обняла его за шею и повисла на нем, пока он расстегивал брюки. Потом подложил руки под ее заголенные ягодицы, приподнял ее, и Люси, подпрыгнув, обхватила его ногами. Его язык был у нее во рту, она втянула его глубже, и Санни отозвался таким яростным движением навстречу, что она стукнулась затылком о дверь. Что-то горячее обожгло ей бедро. Она опустила руку, и пальцы ее сомкнулись вокруг налитого горячей кровью мускула непомерной толщины. Он пульсировал у нее в ладони, точно живое существо, и, чуть не плача от блаженного томленья, она направила его вглубь своей изнывающей, влажной плоти. От мощи первого вторжения, от нестерпимого удовольствия у нее захватило дух, ноги невольно закинулись почти что к самой его шее, тело, словно некий колчан, принимало свирепые стрелы его молниеносных толчков, бессчетных, мучительных, влекущих выше, выше, пока она впервые в жизни не достигла сокрушительной вершины, где и его твердость распалась в пенном изверженье на ее бедра. Кольцо ее ног разжалось, медленно сползая вдоль его тела на пол. Они привалились друг к другу, с трудом переводя дыхание.

Наверное, негромкий стук в дверь продолжался уже не первую минуту, но только теперь он дошел до их сознания. Санни, прислонясь к двери на случай, если ее вздумают открыть, поспешно застегнулся. Люси лихорадочно одергивала на себе розовое платье, исподтишка поглядывая в его сторону, но зря ― предмет, принесший ей такую усладу, скрылся под строгой черной тканью. Послышался очень тихий голос Тома Хейгена:

― Санни, ты здесь?

Санни с облегчением выдохнул из себя воздух и подмигнул Люси.

― Да, Том. Чего тебе?

Все так же тихо голос Хейгена произнес:

― Дон требует тебя в кабинет. Сию секунду.

Раздался звук шагов и стих вдали. Санни выждал еще несколько мгновений, больно поцеловал Люси в губы и выскользнул за дверь.

Люси причесала растрепанные волосы, еще раз оправила платье, подтянула чулки. У нее ломило все тело, горели и саднили губы. Она вышла и, не подумав даже зайти в ванную, чтоб смыть клейкую влажность между бедер, сбежала вниз по лестнице прямо в сад и села на прежнее место за стол новобрачных, рядом с невестой. Конни обиженно надула губы:

― Люси, куда ты пропала? Ты что-то прямо как пьяная. Посиди теперь со мной.

Белокурый молодожен, понимающе скаля зубы, налил Люси вина. Люси было все равно. Она поднесла к пересохшим губам пахучую темную жидкость и стала пить. Крепче сжала колени, вновь ощущая на коже клейкую влагу. Каждая жилка в ней дрожала. Глаза поверх бокала жадно выискивали в толпе Санни Корлеоне. Никого больше ей видеть не хотелось. Она лукаво шепнула на ухо Конни:

― Погоди, еще пара часов, и ты тоже узнаешь, что к чему.

Конни хихикнула.

Люси скромнехонько сложила руки на столе, упиваясь вероломным торжеством, словно похитила сокровище, предназначенное невесте.

Вслед за Хейгеном Америго Бонасера вошел в угловую комнату; дон Корлеоне сидел у огромного письменного стола. Подле окна, глядя в сад, стоял Санни Корлеоне. Дон, впервые за время приема, встретил гостя неласково. Не обнял его, даже не подал руки. Жена Бонасеры была лучшей подругой хозяйки дома, иначе владельцу похоронной конторы не видать бы приглашения на свадьбу, как своих ушей. Сам Америго был в большой немилости у дона Корлеоне.

Проситель повел речь тонко, издалека.

― Извините и не сочтите неучтивостью, что сегодня не приехала моя дочь, крестница вашей супруги. Она все еще лежит в больнице. ― Бонасера покосился в сторону Санни и Тома Хейгена, давая понять, что не хочет разговаривать при них. Дон и бровью не повел.

― Да, все мы знаем, какая у вас беда с дочкой. Если я тут могу быть чем-то полезен, только скажите. Как-никак моя жена ей доводится крестной матерью. Я не забыл, что нам оказана такая честь. ― Это был упрек. Похоронщик никогда не называл дона Корлеоне «Крестный отец», как того требовал обычай.

Бескровное лицо Америго сделалось пепельно-серым, он спросил уже без обиняков:

― Могу я говорить с вами наедине?

Дон Корлеоне покачал головой:

― Я этим людям доверяю свою жизнь. Каждый из них мне ― как правая рука. Попросить их выйти значило бы нанести им оскорбление.

Похоронщик на секунду прикрыл глаза, потом заговорил, монотонно, негромко, тем голосом, каким обычно обращался со словами утешения к своим клиентам:

― Я растил свою дочь так, как принято в Америке. Я чту Америку. Америка дала мне возможность встать на ноги. Я предоставил дочери свободу, но при этом внушал ей, чтобы никогда не роняла честь семьи. Она завела себе молодого человека, не итальянца. Начала ходить с ним в кино. Возвращалась поздно. И хоть бы раз он зашел в дом, познакомился с родителями. Я со всем этим мирился, слова поперек не сказал ― моя вина. Два месяца назад он повез ее гулять. Взял с собой еще одного парня, своего дружка. Напоили ее виски, потом вздумали надругаться над ней. Она не далась. Не допустила над собой позора. Тогда они ее стали избивать. Били, как собаку. Когда я приехал в больницу, у нее были подбиты оба глаза. Ей сломали переносицу. Раздробили челюсть. Пришлось накладывать проволочные шины. Она рыдала, превозмогая боль: «Папа, папочка, за что? За что они меня так?» Я сам плакал вместе с ней.

Слезы мешали Бонасере говорить, хоть его голос до сих пор ничем не выдавал его волнения.

Дон Корлеоне, как бы невольно, сделал сочувственный жест, и Бонасера продолжал ― теперь в его голосе слышалось живое человеческое страдание:

― О чем я плакал? Она была мне светом очей, она была ласковая, моя дочка. И красивая. Она верила людям, теперь никогда уже больше не будет верить. И никогда не будет красивой. ― Похоронщика трясло, на его землистых щеках проступили безобразные багровые пятна. ― Я, как добропорядочный американец, обратился в полицию. Хулиганов арестовали. Потом судили. Улики были неопровержимы, оба признали себя виновными. Судья дал обоим по три года, но условно. В тот же день их выпустили. Я стоял в суде, как дурак, а эти подонки смеялись мне в лицо. И тогда я сказал жене: «Правосудия нам надо искать у дона Корлеоне».

Дон слушал, склонив голову в знак уважения к чужому горю. Но когда он заговорил, в его холодных словах звучало оскорбленное достоинство.

― Зачем же вы обратились в полицию? Почему с самого начала не пришли ко мне?

Бонасера еле слышно отозвался:

― Что я вам буду должен? Скажите, что от меня потребуется. Только сделайте то, что я прошу. ― Это прозвучало неприязненно, почти дерзко.

― А что же именно? ― серьезно сказал дон Корлеоне.

Бонасера оглянулся на Хейгена и Санни Корлеоне и замотал головой. Дон, не вставая из-за стола, подался всем телом вперед, и Бонасера, помедлив, нагнулся к волосатому уху дона, едва не касаясь его губами. Дон Корлеоне слушал, устремив взор в пространство, бесстрастный и недоступный, словно священник в исповедальне. Прошла долгая минута; Бонасера прошептал последнее слово и выпрямился во весь рост. Дон поднял на него строгий взгляд. Бонасера покраснел, но не отвел глаза.

Наконец дон заговорил:

― Это невозможно. Надо же знать меру.

Бонасера громко, внятно произнес:

― За ценой не постою. Сколько?

Хейген при этих словах дернулся, нервно вскинув голову. Санни Корлеоне в первый раз повернулся от окна и с сардонической усмешкой скрестил руки на груди.

Дон поднялся из-за стола. Его лицо оставалось бесстрастным, но от голоса его стыла кровь.

― Мы с вами знаем друг друга не первый год, ― сказал он, ― однако до сих пор вы никогда не приходили ко мне за помощью или советом. Я что-то не припомню, когда в последний раз вы приглашали меня к себе на чашку кофе, а ведь вашу единственную дочь крестила моя жена. Будем говорить откровенно. Вы пренебрегали моей дружбой. Вы боялись оказаться мне обязанным.

Бонасера глухо сказал:

― Я не хотел навлекать на себя неприятности.

Дон вскинул вверх ладонь.

― Нет, постойте. Помолчите. Америка представлялась вам раем. Вы открыли солидное дело, вы хорошо зарабатывали, вы решили, что этот мир ― тихая обитель, где можно жить-поживать в свое удовольствие. Вы не позаботились о том, чтобы окружить себя надежными друзьями. Да и зачем? Вас охраняла полиция, на страже ваших интересов стоял закон ― какие беды могли грозить вам и вашим присным? И для чего вам нужен был дон Корлеоне? Ну что ж. Мне было больно, но я не привык навязывать свою дружбу тем, кто ее не ценит, ― тем, кто относится ко мне с пренебрежением. ― Дон помолчал и взглянул на похоронщика с вежливой и насмешливой улыбкой. ― И вот теперь вы приходите ко мне и говорите: «Дон Корлеоне, пусть вашими руками свершится правосудие». Причем просите вы меня непочтительно. Вы не предлагаете мне свою дружбу. Вы приходите в мой дом в день свадьбы моей дочери и предлагаете мне совершить убийство, а после прибавляете, ― дон Корлеоне с издевкой передразнил Бонасеру: ― «Я заплачу вам сколько угодно». Нет-нет, я не обижаюсь ― только чем я мог заслужить у вас подобное неуважение к себе?

Из глубины души, истерзанной мукой и страхом, у похоронщика вырвался вопль:

― Америка приютила и обогрела меня. Я хотел быть образцовым гражданином. Хотел, чтобы мое дитя стало дочерью Америки.

Дон дважды одобрительно хлопнул в ладони.

― Прекрасные речи. Великолепно. Раз так, вам не на что жаловаться. Судья вынес свой приговор. Америка сказала свое слово. Навещайте свою дочку в больнице, носите ей цветы и сладости. Они порадуют ее. И сами утешьтесь. В конце концов, беда не так уж велика, ребята молодые, горячие, один к тому же ― сынок видного политика. Да, милый Америго, вы всегда были честным человеком. И хотя вы пренебрегли моей дружбой, я должен признать, что на слово Америго Бонасеры можно положиться со спокойной совестью. А потому дайте мне слово, что вы выкинете из головы эти бредни. Это совсем не по-американски. Простите. Забудьте. Мало ли в жизни неудач.

Во всем этом звучала такая злая, ядовитая насмешка ― в голосе дона слышалось столько сдержанного гнева, что от незадачливого похоронщика остался лишь сгусток студенистого страха, однако заговорил он и на этот раз храбро:

― Я прошу, чтобы свершилось правосудие.

Дон Корлеоне отрывисто сказал:

― Правосудие уже свершилось на суде.

Бонасера упрямо затряс головой:

― Нет. На суде свершилось правосудие для тех мальчишек. Для меня ― нет.

Дон склонил голову, показывая, что сумел оценить всю тонкость такого разграничения.

― В чем же состоит правосудие для вас? ― спросил он.

― Око за око, ― сказал Бонасера.

― Вы просите большего, ― сказал дон. ― Ведь ваша дочь осталась жива.

Бонасера с неохотой сказал:

― Пусть они испытают те же страдания, какие доставили ей.

Дон выжидал, что он скажет дальше. Бонасера собрал последние остатки мужества и договорил:

― Сколько мне заплатить вам за это?

То был крик отчаяния.

Дон Корлеоне повернулся спиной к просителю. Это означало, что разговор окончен. Бонасера не шелохнулся.

Тогда со вздохом, как человек, неспособный по доброте сердечной держать зло на друга, когда тот ступил на ложный путь, дон обернулся к похоронщику, который в эту минуту мог бы помериться бледностью с любым из своих покойников. Теперь дон Корлеоне заговорил терпеливо, ласково.

― Отчего вы страшитесь искать покровительства прежде всего у меня? ― сказал он. ― Вы обращаетесь в суд и ждете месяцами. Вы тратитесь на адвокатов, которые отлично знают, что вас так или иначе оставят в дураках. Считаетесь с приговором судьи, а этот судья продажен, как последняя девка с панели. Дело прошлое, но в те годы, когда вам нужны были деньги, вы шли в банк, где с вас драли убийственные проценты, ― вы, как нищий, стояли с протянутой рукой, покуда кто-то вынюхивал, в состоянии ли вы будете вернуть деньги, пока другие совали нос к вам в тарелку, подглядывали за вами в замочную скважину.

Дон на мгновение замолчал, и в его голосе прибавилось строгости:

― Между тем, если бы вы пришли ко мне, я протянул бы вам свой кошелек. Если бы обратились ко мне за правосудием, то обидчики вашей дочери, эти подонки, уже сегодня заливались бы горькими слезами. Если бы, волею злого случая, вы ― достойный человек ― нажили себе недругов, они бы стали и мне врагами, и тогда, ― дон поднял руку, указуя перстом на Бонасеру, ― тогда, вы уж поверьте, они бы вас боялись.

Бонасера поник головой и сдавленно прошептал:

― Будьте мне другом. Я принимаю ваши условия.

Дон Корлеоне положил ему руку на плечо.

― Хорошо, ― сказал он. ― Пусть свершится правосудие. Быть может, настанет день ― хоть я и не говорю, что такой день непременно настанет, ― когда я призову вас сослужить мне за это службу. А пока примите этот акт правосудия как дар от моей жены, крестной матери вашей дочки.

Когда похоронщик, бормоча слова благодарности, закрыл за собою дверь, дон Корлеоне обратился к Хейгену:

― Поручи это дело Клеменце да скажи, пусть отберет выдержанных ребят, чтобы не слишком увлеклись, почуяв запах крови. Мы, в конце концов, не убийцы ― что бы там ни вбил в свою тупую голову этот наперсник мертвецов.

Дон заметил, что его первенец, надежда родительского сердца, опять загляделся в окошко на свадебное веселье. Не будет толку, подумал дон Корлеоне. Раз Сантино упорно не хочет учиться, он никогда не сможет возглавить дела семейства, из него никогда не выйдет дон. Придется искать кого-то другого. И не откладывая. В конце концов, он тоже не вечен.

Из сада в комнату ворвался дружный и восторженный рев, все трое насторожились. Санни Корлеоне припал к окну. Увидел, просиял и быстро двинулся к двери.

― Это Джонни ― приехал все-таки на свадьбу, что я говорил!

Хейген подошел к окну.

― Это и правда ваш крестник, ― сказал он дону Корлеоне. ― Вести его сюда?

― Не надо, ― сказал дон. ― Пусть порадует гостей. Ко мне еще успеет. ― Он улыбнулся Хейгену. ― Вот видишь. Он хороший крестный сын.

У Хейгена ревниво екнуло сердце. Он сухо сказал:

― За два года ― первый раз. Видно, опять неприятности, нужно выручать.

― А к кому же и идти ему в трудную минуту, если не к крестному отцу, ― сказал дон Корлеоне.

Первой увидела, что в сад входит Джонни Фонтейн, невеста, Конни Корлеоне. В ту же секунду с нее слетела вся ее напускная величавость.

― Джон-ни-и! ― завизжала она, сорвалась с места и кинулась ему на шею.

Джонни Фонтейн крепко прижал ее к себе, чмокнул в губы и, обняв одной рукой, стоял с нею, пока к нему сбегались остальные. Все это были его старые друзья, с ними вместе он рос на уэст-сайдских улицах. Конни подтащила его к новобрачному. Джонни стало смешно: светловолосый юнец явно обиделся, что уже не он герой дня. Джонни привычно пустил в ход свое обаяние ― сердечно тряс ему руку, осушил в его честь стакан вина.

С эстрады, где сидели музыканты, донесся знакомый голос:

― Эй, Джонни, спел бы нам лучше песенку!

Джонни поднял голову: на него с усмешкой глядел сверху Нино Валенти. Джонни вспрыгнул на эстраду и сгреб Нино в охапку. Прежде они были неразлучны ― вместе пели, вместе гуляли с девчонками, ― а после Джонни устроился петь на радио, и к нему пришла слава. Когда он уехал в Голливуд сниматься в кино, он пару раз звонил Нино ― просто так, поболтать ― и обещал договориться, чтобы Нино послушали в одном из местных клубов. Но сделать это так и не собрался. Сейчас при виде Нино, его усмешки, бесшабашной, хмельной, нагловатой, былая привязанность к другу охватила Джонни с новой силой.

Нино забренчал на мандолине. Джонни Фонтейн положил ему руку на плечо.

― В честь невесты, ― сказал он и, притопнув ногой, стал выпевать соленые слова любовных сицилийских куплетов. Пока он пел, Нино сопровождал куплеты красноречивыми телодвижениями. Польщенная невеста зарумянилась, толпа гостей выражала свое одобрение зычным рыком. К концу все, топоча ногами, оглушительно подхватывали лукавую, двусмысленную припевочку, которой завершался каждый куплет. Потом хлопали, не переставая, покуда Джонни не прочистил горло, готовясь запеть новую песенку.

Здесь каждый гордился им. Он был свой, плоть от их плоти ― и сделался знаменитым певцом, звездой киноэкрана, самые обольстительные женщины на земле оспаривали его друг у друга. И смотрите ― он не зазнался, он проявил должное почтение к своему крестному отцу, перемахнул три тысячи миль и примчался на свадьбу. Он по-прежнему любит старых приятелей вроде Нино Валенти. Многие помнили, как Джонни горланил песенки вместе с Нино, когда у обоих еще молоко на губах не обсохло, когда никому и не снилось, что Джонни Фонтейн будет держать у себя на ладони пятьдесят миллионов женских сердец.

Джонни Фонтейн наклонился с эстрады, подхватил невесту и поставил ее между собою и Нино. Певцы пригнулись, обратив лица друг к другу; Нино тронул струны мандолины, она отозвалась нестройно и сипло. То была их старая забава, шуточный поединок за первенство в отваге и любви; голоса их скрестились, точно шпаги, припев выкрикивал то один, то второй, поочередно. С изысканной любезностью Джонни позволил Нино перекрыть его прославленный голос своим и завладеть другой рукой невесты ― позволил Нино победно допеть до конца, а сам пристыженно замолк. Под общие крики и бешеные рукоплескания трое на эстраде обнялись. Свадьба молила, требовала новых песен.

И только один человек почуял неладное. Стоя в дверях своего дома, дон Корлеоне подал голос ― грубовато, но беззлобно, чтобы ни в коем случае не обидеть гостей:

― Мой крестник оказал нам такую честь, прилетел за тридевять земель, а никто не догадается, что ему следует промочить горло!

К Джонни мгновенно протянулись штук десять полных бокалов. Он отпил по глотку из каждого и бросился к своему крестному отцу. Они обнялись; Джонни шепнул что-то на ухо дону ― и дон Корлеоне повел его в дом.

Джонни вошел в кабинет. Том Хейген протянул ему руку. Джонни пожал ее, бросил:

― Как живешь, Том? ― однако без следа той неподдельной сердечности, в какой заключался главный секрет его обаяния. Хейгена слегка задела его отчужденность ― а впрочем, ему было не привыкать. Он был разящий меч дона Корлеоне, за это приходилось расплачиваться и такою ценой.

Джонни Фонтейн обратился к дону:

― Когда пришло приглашение на свадьбу, я себе сказал ― ага, крестный на меня уже не сердится. А то раз пять пытался к вам дозвониться с тех пор, как развелся с женой, но, как ни позвоню, Том отвечает, либо дома нет, либо занят ― чего уж там, понятно, что впал в немилость.

Дон разливал по стаканам настойку из янтарной бутыли.

― Что прошлое поминать... Ну, так. Я еще на что-нибудь гожусь для тебя? Или же твоя слава и твои миллионы вознесли тебя в такую высь, что туда не протянешь руку помощи?

Джонни опрокинул себе в рот огненную желтую влагу и подставил дону пустой стакан. Он силился отвечать непринужденно и беспечно:

― Какое там ― миллионы, крестный. Я качусь вниз. Эх, правду вы мне говорили. Нечего было бросать жену с детьми и жениться на распутной девке. Поделом вы сердились на меня.

Дон пожал плечами.

― Я за тебя беспокоился, вот и все, ― как-никак ты мой крестник.

Джонни заходил по комнате.

― Я голову потерял из-за этой паскудины. Первая звезда в Голливуде. Хороша, как ангел. А знаете, что она творит, когда кончаются съемки? Если гример удачно сделал ей лицо, она с ним трахается. Если оператор нашел для нее выигрышный ракурс, зазывает к себе в уборную и дает ему. Готова спать с кем ни попадя. Раздает свое тело направо и налево, как раздают чаевые. Грязная тварь ― у сатаны на шабаше ей место...

Дон Корлеоне оборвал его:

― Как поживает твоя семья?

Джонни вздохнул.

― Они у меня обеспечены. Когда мы разошлись, я дал на Джинни и девочек больше, чем присудили на процессе. Раз в неделю езжу их проведать. Скучаю без них. Иной раз до того скрутит, что кажется, с ума сойдешь. ― Он снова осушил стакан. ― А вторая жена смеется надо мной. Не может взять в толк, отчего это я ревную. Я отстал от жизни, я развожу итальянские страсти, а мои песенки ― дребедень. Перед отъездом вмазал ей прилично ― правда, лицо пожалел, она сейчас снимается. Намял ей бока, наставил синяков на руках, на ногах ― впал в детство, она только хохотала надо мной. ― Джонни закурил. ― Вот так, крестный, а потому на сегодняшний день, как говорится, жить мне в общем-то нет охоты.

Дон Корлеоне сказал просто:

― Это беды, в которых тебе нельзя помочь. ― Он помолчал. Потом спросил: ― Что у тебя происходит с голосом?

В мгновение ока от баловня судьбы, который самоуверенно и неотразимо подтрунивал над собою, не осталось и следа. Джонни Фонтейн был сломлен.

― Крестный, я не могу больше петь, у меня что-то с горлом, и доктора не знают что.

Хейген и дон поглядели на него изумленно. Чего-чего, а малодушия за Джонни Фонтейном не водилось никогда. Джонни продолжал:

― Мои две картины принесли большие деньги. Я был звездой первой величины. Теперь меня выпирают из кино. Хозяин студии издавна меня не терпит, и сейчас для него удобное время со мной сквитаться.

Дон Корлеоне стал, повернувшись лицом к крестнику, с угрозой спросил:

― За что же этот человек невзлюбил тебя?

― Я выступал с песнями левых авторов, в поддержку либеральных организаций ― помните, вам это всегда не нравилось. Вот и Джеку Вольцу не понравилось. Он навесил на меня ярлык коммуниста, но, вопреки его стараниям, эта кличка ко мне не приклеилась. Потом ― уж так получилось ― я увел девочку, которую он приберегал для себя. Увел всего на одну ночь, а точнее ― она меня увела. Что мне еще, черт возьми, оставалось? А теперь меня гонит из дому эта развратная стерва, на которой я женился. Джинни с детьми меня обратно не примут, разве что приползу на коленях. Петь я больше не могу. Что же делать, крестный, что делать?

Лицо дона Корлеоне застыло в ледяном презрении. В нем не было и тени сочувствия.

― Для начала ― вести себя как подобает мужчине, ― сказал он.

Внезапно черты его исказились от гнева.

― Мужчине, ты понял? ― рявкнул он.

Он перегнулся через стол и сгреб Джонни за волосы движением свирепым и любовным.

― Господи боже мой, столько времени провести возле меня и после этого остаться размазней! Ты что, бесполая кукла голливудская, что вздумал хныкать и клянчить о жалости? Бабьи истерики закатывать ― «Что же делать? Ах, что мне делать?»

Это вышло так неожиданно, так удивительно похоже, что Джонни с Хейгеном покатились со смеху. Дон Корлеоне был доволен. До чего же прикипел к его сердцу этот крестник... Любопытно, подумалось ему, чем бы ответили на подобную выволочку его родные сыновья. Сантино надулся бы и еще долго потом выкидывал коленца. Фредо ходил бы как побитая собака. Майкл повернулся бы с холодной улыбкой, ушел из дому и не показывался несколько месяцев. А вот Джонни ― ну до чего милый парень! ― уже скалит зубы, собирается с силами, разгадал с первого слова, чего в самом деле хочет крестный. Дон Корлеоне продолжал:

― Ты уводишь женщину из-под носа у хозяина студии ― человека, который сильней тебя, ― и потом жалуешься, что он оттирает тебя от работы. Надо же додуматься! Ты бросаешь семью, оставляешь детей без отца ради того, чтобы жениться на девке, ― и плачешь, что тебя не ждут назад с распростертыми объятьями. Тебе жаль ударить девку по лицу, потому что она снимается в кино, ― и ты еще удивляешься, что она над тобой смеется. Ты жил как дурак ― и, понятное дело, кончил тем, что остался в дураках.

Дон Корлеоне сделал передышку и терпеливо спросил:

― Не хочешь хотя бы на сей раз послушаться моего совета?

Джонни Фонтейн пожал плечами.

― Я не могу жениться снова на Джинни ― во всяком случае, на угодных ей условиях. Я играю, я пью, я бываю в холостяцких компаниях и без этого не умею жить. За мной увиваются смазливые бабенки, у меня никогда не хватало сил перед ними устоять. А после тащишься к Джинни и чувствуешь себя распоследним гадом. Согласиться опять тянуть эту лямку ― нет уж, ни за что.

Видно было, что терпение у дона Корлеоне вот-вот лопнет, а такое случалось нечасто.

― Да разве тебе кто-нибудь велит жениться снова? Поступай как знаешь. Ты хочешь остаться отцом своим девочкам ― это похвально. Если мужчина не стал своим детям настоящим отцом, он не мужчина. Но раз так, сумей настоять, чтобы их мать принимала тебя на твоих условиях. Где сказано, что ты не можешь видеться с ними каждый день? Что ты не можешь поселиться под одной крышей с ними? Где сказано, что ты не имеешь права строить собственную жизнь, считаясь лишь с собственными желаниями?

Джонни Фонтейн усмехнулся.

― Нет, крестный, жен старого итальянского образца теперь мало. Джинни этого не потерпит.

Дон подпустил в свои назидания яду:

― Так ведь ты вел себя как слюнтяй. Одной жене выплатил больше, чем ей присудили. Другой боялся попортить личико, потому что она снимается в кино. Ты подчинялся в своих поступках женщинам, ― а женщины, они на этом свете только помеха делу, хотя на том, разумеется, попадут в святые, а мы, мужчины, будем гореть в адском пламени. И еще. Я, знаешь, следил за тобой все эти годы. ― Теперь дон говорил серьезно. ― Да, ты был примерным крестником, ты ни разу не проявил неуважения ко мне. Ну, а как насчет твоих старых друзей? Сегодня тебя повсюду видят с одним, завтра ― с другим. Помнишь, тот паренек, итальянец, снимался в таких забавных ролях ― на чем-то он раз сорвался, и ты уж не встречаешься с ним, ты же у нас знаменитость. Или другой, закадычный старинный товарищ ― вместе бегали в школу, вместе горланили песни. Нино. Он вот пьет сверх меры оттого, что ему в жизни не повезло, но никто не слыхал от него ни единой жалобы. Вкалывает себе, возит гравий на грузовой машине, по субботам подрабатывает ― поет свои песенки. И никогда не скажет о тебе дурного слова. Ты бы ему не помог немножко? А что? Он славно поет.

Джонни Фонтейн объяснил терпеливо, но слегка утомленно:

― Крестный, у него же просто не те способности. Сносно поет, но звезд-то с неба не хватает.

Дон Корлеоне опустил веки, от глаз его остались узкие щелки.

― Ну а ты, крестничек, ― ведь и ты, как оказалось, тоже звезд с неба не хватаешь. Хочешь, пристрою тебя на работу ― возить гравий на грузовике вместе с Нино?

Джонни не отозвался, и дон продолжал:

― Дружба ― это все. Дружба превыше таланта. Сильнее любого правительства. Дружба значит лишь немногим меньше, чем семья. Никогда это не забывай. Тебе стоило воздвигнуть вокруг себя стену дружбы ― и сегодня ты не взывал бы ко мне о помощи. А теперь говори, почему ты не можешь петь? В саду ты пел недурно. Не хуже Нино.

Хейген и Джонни усмехнулись в ответ на эту изощренную колкость. Теперь настала очередь Джонни проявить выдержку и снисходительность:

― Горло у меня стало слабое. Спою две-три песни ― и на много часов, а то и дней лишаюсь голоса. На репетициях, на записях не дотягиваю до конца. Голос садится, что-то разладилось с глоткой.

― Так. Стало быть, неполадки с женщинами. Неполадки с голосом. Теперь скажи, в чем суть твоих неурядиц с этой шишкой, этим pezzonovante из Голливуда? Где и как он тебе не дает работать?

До сих пор были слова, теперь начиналось дело.

― Он и вправду большая шишка, ― сказал Джонни. ― Хозяин киностудии. Советник президента по военной пропаганде средствами кино. Только месяц назад купил права на экранизацию самого нашумевшего романа за этот год. Бестселлер, идет нарасхват. Главный герой будто списан с меня. Мне бы даже играть не было надобности ― просто быть самим собой. Даже не петь, пожалуй. И не исключено, что мне присудили бы премию Академии. Все знают ― я прямо создан для этой роли, я снова оказался бы в обойме. Уже как актер. А Вольц, сукин сын, сводит со мной счеты и не дает мне эту роль. Я вызвался сыграть ее практически даром, по низшей ставке, и все равно он ни в какую. Пустил слух, что если я приду на студию и при всех поцелую его в зад ― тогда он, возможно, еще подумает.

Дон Корлеоне нетерпеливым жестом отмахнулся от этой лирической концовки. Разумные люди всегда сумеют найти выход из деловых затруднений. Он потрепал крестника по плечу.

― Ты, я вижу, пал духом. Думаешь, что никому ты не нужен, все от тебя отвернулись, ― угадал? И очень сильно похудел. Пьешь, видно, много? Не спишь, глотаешь таблетки? ― Он недовольно покрутил головой. ― А теперь слушай и подчиняйся, ― продолжал он. ― Будь добр на месяц остаться в моем доме. Будь добр есть по-человечески, отоспись, приди в себя. Держись при мне ― мне в твоем обществе приятно, а ты, быть может, наберешься от своего крестного ума-разума в житейских вопросах ― как знать, вдруг и в твоем хваленом Голливуде пригодится. И чтобы никакого пения, никаких попоек, никаких женщин. Пройдет месяц ― можешь возвращаться в Голливуд, и эта шишка, этот твой pezzonovante, даст тебе работу, о которой ты мечтаешь. Договорились?

Джонни Фонтейну не очень верилось, что дон столь всесилен. Правда, еще не бывало случая, чтобы его крестный отец посулил что-то сделать и не сделал.

― Этот хмырь ― личный друг Эдгара Гувера, ― сказал Джонни. ― Он вас даже слушать не станет.

― Он деловой человек, ― скучным голосом сказал дон. ― Я приду к нему с предложением, которое он не сможет отклонить.

― Да и слишком поздно, ― сказал Джонни. ― Все контракты подписаны, через неделю начинаются съемки. Ничего не выйдет, исключено.

Дон Корлеоне сказал:

― Ступай-ка. Иди к гостям. Друзья тебя ждут не дождутся. Предоставь все мне.

Он подтолкнул Джонни к двери. Хейген, присев к столу, делал пометки в своем блокноте. Дон тяжело вздохнул.

― Еще осталось что-нибудь?

― Нельзя больше откладывать с Солоццо. На этой неделе вам нужно его принять. ― Хейген застыл над календарем с ручкой наготове.

Дон повел плечом.

― Свадьба прошла ― теперь давай, когда скажешь.

Из этих слов Хейген сделал два вывода. Главный ― что Виргилию Солоццо ответят отказом. И второе ― раз дон Корлеоне медлил с ответом, пока не отпразднует свадьбу дочери, значит, он полагает, что этот отказ будет сопряжен с неприятностями. Хейген осторожно спросил:

― Сказать Клеменце, чтобы разместил в доме часть своих людей?

Дон нетерпеливо поморщился.

― Зачем? Я не давал ответа до свадьбы, потому что такой знаменательный день не должно омрачать ни единое облачко, хотя бы и в отдалении. Кроме того, я хотел заранее знать, о чем он собирается толковать. Теперь это известно. То, что он намерен нам предложить, ― infamita. Позор и мерзость.

Хейген сказал:

― Так вы ответите отказом? ― Дон кивнул, и Хейген прибавил: ― Я считаю, это следует обсудить ― сообща, на семейном совете, ― а потом уже давать ответ.

Дон усмехнулся:

― Считаешь, стало быть. Ладно, обсудим. Когда вернешься назад из Калифорнии. Слетай туда завтра же и расхлебай эту кашу в пользу Джонни. Повидайся с киноворотилой. А Солоццо передай, что я приму его после твоего приезда из Калифорнии. Что еще?

Хейген доложил безучастно и четко:

― Звонили из больницы. Часы consigliori Аббандандо сочтены, ему не дотянуть до утра. Родным велели приехать проститься.

Последний год, с тех пор как рак приковал к больничной койке Дженко Аббандандо, Хейген исполнял роль consigliori. Теперь он ждал, не скажет ли дон Корлеоне, что эта должность закрепляется за ним постоянно. Обстоятельства складывались скорее неблагоприятно. По традиции, столь высокое положение мог занимать лишь стопроцентный, по отцу и матери, итальянец. Уже и то, что эти обязанности были возложены на Хейгена хотя бы временно, привело к осложнениям. Годами он тоже не вышел ― всего тридцать пять ― слишком молод, предположительно, чтобы набраться опыта и изворотливости, какие требуются хорошему consigliori.

На лице дона он не прочел ничего обнадеживающего.

― Когда моей дочери с мужем уезжать?

Хейген взглянул на свои наручные часы.

― С минуты на минуту разрежут свадебный пирог, потом туда-сюда еще полчаса. ― Это навело его на мысль о другом. ― Да, насчет вашего зятя. Даем ему что-нибудь значительное, впускаем в круг семейства?

Ответ прозвучал так неистово, что Хейген оторопел.

― Никогда. ― Дон хлопнул ладонью по столу. ― Никогда. Подыщешь ему что-нибудь на прокорм ― хорошую кормушку. Но никогда не подпускай к делам семейства. Другим скажи то же самое ― Санни, Фредо, Клеменце.

Дон помолчал.

― Передай моим сыновьям, что они поедут со мной в больницу к бедняге Дженко, все трое. Хочу, чтобы в последний раз оказали ему уважение. Пусть Фредди возьмет большую машину, и спроси Джонни, может быть, сделает мне особенное одолжение и тоже поедет с нами. ― Он перехватил вопросительный взгляд Хейгена. ― А ты сегодня же вечером поезжай в Калифорнию. Так что тебе съездить к Дженко будет некогда. Но задержись до моего возвращения из больницы, у меня к тебе разговор. Все понял?

― Понял, ― сказал Хейген. ― К какому времени Фредо подать машину?

― Пусть разъедутся гости, ― сказал дон Корлеоне. ― Дженко меня дождется.

― Сенатор звонил, ― сказал Хейген. ― Извинялся, что не смог пожаловать лично, но прибавил, что вы поймете. Скорей всего, имеет в виду тех двух красавцев из ФБР, которые торчали напротив вашего дома и записывали номера у машин. Зато подарок прислал, с нарочным.

Дон покивал головой. Не было смысла рассказывать, что он сам отсоветовал сенатору приезжать.

― Стоящий подарочек?

Германо-ирландские черты Хейгена приняли до странности итальянское выражение, обозначающее высокую степень похвалы.

― Старинное серебро, очень ценная штука. Если ребята надумают продавать ― верная тысяча. Повозился сенатор, покуда отыскал редкую вещь. Для людей его круга в этом вся соль, а не в том, сколько стоит.

Дон Корлеоне выслушал его с нескрываемым удовольствием ― со стороны такой фигуры, как сенатор, это был нешуточный знак внимания. Подобно Люке Брази, сенатор был одной из глыб, на которых покоилось могущество дона Корлеоне, ― и, подобно Люке, своим подарком он вновь подтвердил свою неизменную преданность.